

Анна Агнич ДЕВОЧКА В ОКНЕ







Austin

Анна Агнич
ДЕВОЧКА В ОКНЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

БОСТОН • 2016 • BOSTON

Анна Агнич *Девочка в окне. Рассказы и повести*

Редакторы: Елена Рипинская, Александр Бархавин

Anna Agnich *Devochka v okne. Rasskazy i povesti*
(The Girl in the Window. Short stories)

Editors: Elena Ripinskaya and Alexander Barkhavin

Copyright © 2016 by Anna Agnich

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder except for the brief quotations in a book review.

ISBN 978-1-94022046-8

Library of Congress Control Number: 2016906015

Published by M•GRAPHICS, BOSTON, MA

🖥 www.mgraphics-publishing.com

✉ info@mgraphics-publishing.com
mgraphics.books@gmail.com

Дизайнер: Евгений Кац / Design by Eugene Katz

На обложке картина Кати Бессмертной /

On the cover—painting by Katya Bessmertnaya

Модуль переносов русского языка **Ван**[™]: И.В. Батов (www.batov.ru)

Отпечатано в США

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Игорь Джерри Курас. Предисловие</i>	7
Стекланный лепесток	11
Мессендорф	15
Девочка в окне	32
У подъезда	35
Дровяная печь	42
Артур	46
Окна	55
Анза-Боррего	60
Глостер	65
За стекланный стеной	76
В консервной банке	81
Сказка о сухом колодце	84
Ночная почта	93
Натюрморт с селедкой и без	116
Ластик	121
Гамбит с вулканом	134
Экскурсия	161
Я — ангел	172

ПРЕДИСЛОВИЕ

Меня давно интересовал вопрос искренности в искусстве. И особенно, искренности в литературе, где строительным материалом является слово. Слово, которое, как известно, иногда и «врать готово», а иногда вылетает из клетки потаённого мира и живёт себе как хочет, и не поймаешь.

Что есть искренность литературного текста? Возможна ли она? Ведь мы не просто пишем — мы придаём нашим текстам определённую форму, которая отвечает нашему художественному вкусу, нашему эстетическому опыту, нашему пониманию того, что художественно, а что не очень.

Как же может быть искренней последовательность слов, выстроенная автором согласно каким-то продуманным планам, выверенным инверсиям, рассчитанной динамике развития? Ведь искренность — это в какой-то степени безыскусность. А литературный текст, прежде всего, произведение искусства с множеством сложнейших задач, решение которых требует скорее напряжения ума, чем душевного порыва.

Поэт пишет четыре строчки (сильные, яркие, мудрые), а потом дописывает предыдущие восемь-двенадцать «подводящих» строк, конструирует, соединяет их с уже написанной концовкой, шлифует стыки, маскирует швы и получает стихотворение. Но искренна ли такая конструкция? Почему она задевает сердце? Трогает душу?

Я нашёл для себя ответ на этот вопрос в театре, в актёрском мастерстве. Может ли быть искренним актёр, говорящий чужие слова? Хороший актёр меняет роли, а мы верим, что он меняет жизни — искренне верим страданиям, любви, счастью и трагедиям этого человека — на сцене ли, на экране — повторяющего чужие слова. И мы забываем, что это сцена, что это игра, и видим жизнь, в которой «дышат почва и судьба», и не сомневаемся в искренности этого дыхания.

Так, видимо, и в литературе.

Герои Анны Агнич — первоклассные артисты. Они живут своей жизнью. Выйдя «из-под пера» Анны, они выходят и из-под её контроля. С первых же строк забываешь, что герои говорят и делают то, что предписал им автор. Развитие сюжета захватывает, диалоги звучат живыми голосами; цвета, запахи, краски проступают так реально, как это бывает только во сне, пробудившись от которого и сам уже не знаешь: проснулся ли ты на самом деле, или, наоборот, заснул, а увиденный сон и был явью. Да и в самих рассказах сны перемешаны с явью, грусть с иронией, реальные миры с параллельными. Удивительный ритм, динамика этого театрального действия на бумаге говорит не только о хорошей игре актёров, но и о замечательной работе режиссёра, просчитавшего каждую сцену с удивительной точностью, с таким мастерством, что мы не видим, не замечаем этой просчитанности, а видим жизнь. И свет падает на сцену, на декорации так, что забывается их условность. И музыка вступает там, где должна вступить — и звуки её не отвлекают, не огорашивают, а входят верно и смешиваются с голосами и звуками — и слышим жизнь.

Так вот где разгадка! Искусство искренно тогда, когда в нём есть жизнь — когда эта жизнь узнаваема, когда она вызывает сочувствие, сопереживание. Позволяет соизмерить свою непридуманную жизнь с этой придуманной, сценической, «бумажной» жизнью — и понять, что они абсолютно созвучны, как зеркальные отражения.

Рассказы Анны Агнич искренни именно такой удивительной созвучностью, сопереживанием. Невозможно сопереживать искусственной жизни. Сопереживание требует равенства. И читатель находит равенство между жизнями героев Анны Агнич и своей собственной жизнью потому, что верит их искренности.

Но как это выходит? Я думаю, что это происходит тогда, когда сам автор искренне верит в реальность своих героев. Для автора они живут абсолютно реальной жизнью ещё до того, как он только начал задумываться над воплощением своих замыслов. Так Пигмалион видит уже ожившую Галатею в ещё бесформенном куске слоновой кости и только помогает ей выйти на-

ружу живой женщиной. («Под перстом нажимающим жилы забились...» Овидий «Метаморфозы».) Талант литератора, на мой взгляд, заключается именно в том, чтобы оживить для нас этот мир, пока ещё живущий только в воображении рассказчика. И чудо литературы начинается тогда, когда эта искренняя вера художника в реальность его фантазии достигает наивысшего предела, после которого рождение героев настолько естественно, что в реальность их жизней начинает верить не только автор, не только читатель — но и сами ожившие герои.

И вот это, на мой взгляд, самое удивительное, что только может сделать писатель.

Анне Агнич это удаётся так, как редко удаётся кому-то ещё.

*Игорь Джерри Курас
Бостон*



СТЕКЛЯННЫЙ ЛЕПЕСТОК

Муся усадила старуху в пляжное кресло, укутала пледом и пошла вдоль берега собирать стекляшки. Обточенные атлантической водой осколки она хранила дома в синем бархатном мешочке. Когда-нибудь Муся нанижет их на нитку, получится браслет или ожерелье. Правда, как провертеть дырки в стекле, она пока не знала, но ничего, что-нибудь придумается со временем.

Вдоль кромки воды бежала большая черная собака.

— Я тебя не боюсь, — сказала Муся тихо.

Собака затормозила всеми четырьмя лапами, развернулась и побежала обратно. На песке остались следы, похожие на лохматые цветы. Муся присела на корточки и пририсовала к ним стебли с листьями.

Немолодая пара раздевалась у обледенелых камней брайтонского волнолома. Женщина в кружевном белье окунулась, взвизгнула по-русски: «Ух, вода холодная!» — и выбежала на берег, тряся боками и ляжками. Мужчина спокойно вошел в ледяной океан и поплыл саженками от берега прямоком к горизонту.

В песке блеснула стекляшка. Таких Муся еще не находила: увесистый лепесток, округлый с одной стороны и обломленный с другой, он переливался зеленым и лиловым. Муся взгляделась в переливы и вспомнила сегодняшний сон, как она вела урок в комнате с высокими окнами. За роялем кудрявый мальчик играл балладу Шопена.

— Здесь интонация неспешная, разговорная, — учила Муся. — Ты как будто не знаешь, не подозреваешь даже, что будет дальше, ты пока совершенно спокоен. Не спеши, нет еще, нет... Теперь давай!

Ученик заиграл так, что у Муси стало тесно в горле. Она обняла мальчика за плечи, заглянула в лицо и увидела, что это Женя Кисин. Просыпаясь, подумала:

— То-то он так играет.

Уроки снились часто, а наяву сошли на нет—как-то не вышло развернуться в новой стране, хотя ученики любили Мусю. По воскресеньям она играла на органе в одной манхэттенской церкви—вот и все, что осталось от музыкальной школы и Гнесинки.

Утро началось так себе: старуха приняховивалась к Мусе, вытянув шею, и четыре раза отправляла чистить зубы. Муся шла в ванную, думала:

— Она старенькая, ее жалко. И вообще мне все это снится.

Старуха была хорошая, просто утро такое выпало, у нее все зависело от настроения. Звали ее Ольгой, но Муся никак ее не называла—неловко как-то было без отчества. Ольгин муж лежал с кислородным аппаратом у телевизора—он был тихим, а телевизор громким. Когда-то он обыгрывал в шахматы весь русский клуб, но Муся этого не застала, ей только рассказывали.

Она сварила старухе овсянку на молоке, а старику сделала кофе: ложку растворимого, две ложки сахара и треть чашки молока.

Когда Муся начинала у них работать, в первый день спросила старика, чего он хочет на обед. Старуха нахмурилась, поманила пальцем в другую комнату:

— Детка, ты все спрашивай у меня. Здесь я хозяйка.

Запомнить это было легко. Если Муся забывала, ей тотчас напоминали.

Муся вздохнула и погладила стеклянный лепесток, снимая песчинки с округлой поверхности. Океан блестел, старуха дремала на солнышке. Вдруг она открыла глаза и громко сказала:

— Садитесь!

Оторопев, Муся села на ближайший камень. Старуха помолчала и добавила:

— Я вам рад. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно!

Она говорила медленно, роняя бредовые слова с царственной важностью сумасшедшего.

Уф-ф, выдохнула Муся, это же Апухтин. А я-то испугалась... Но как читает! Старуха декламировала, не сбиваясь и не сни-

жая драматического накала до конца. В ее глазах стояли неподдельные слезы. У Муси слезы текли по щекам и капали на воротник пальто. Она вообще в эти дни много плакала. После того воскресенья, когда похоронили майора, то и дело всплывал перед глазами холм рыжей земли на снегу.

Полгода тому назад майоровы дети наняли Мусю, чтобы после смерти жены он не оставался один по ночам. Вся работа была — попить чаю с хозяином дома и лечь спать в соседней комнате. Мусе это было кстати: когда уехал Волька, дома спать стало как-то незачем.

Майор угощал конфетами из русского магазина, уверял, что уж ей-то совершенно ни к чему худеть, что за глупости! Она такая красивая, милая, чуткая, мягкая! Непременно и в скором времени найдется достойный мужчина, разглядит, полюбит, возьмет под крыло, надо только показываться в местах, где бьют мужчины.

— У нас в училище, — мечтательно говорил майор, — молодые секретарши в два-три месяца выходили замуж за курсантов!

Так что Мусе нельзя терять лучшие годы, обслуживая стариков, а нужно поскорее выучиться на физиотерапевта или секретаршу и работать с клиентами. Майор усаживал Мусю за компьютер, учил печатать вслепую — это ей, пианистке, давалось легко. Английский тоже шел хорошо, у нее был абсолютный слух и безупречное произношение. Особенно ловко получалась фраза «Извините, я не говорю по-английски». Говорить-то она говорила, но стеснялась бедности и корявости языка — практики было мало. Теперь майор лежит на кладбище, а она по-прежнему не показывается в местах, где бывают мужчины.

Вернувшись с прогулки, старуха легла отдохнуть и отпустила Мусю в библиотеку проверить электронную почту. От Вольки ничего не было. Он хороший мальчик, просто занят, на первом курсе трудно учиться. Муся вспомнила, как они уезжали из Москвы. За неделю до отъезда муж объявил, что она с маленьким Волькой по-прежнему следует в Нью-Йорк, а он — он летит в Сан-Франциско и с ними жить не будет. У него случилась большая любовь. Муся неделю проплакала, а в аэропорту спросила: зачем же он заставлял ее ехать в Америку?

— Я хочу, чтоб сын жил в одной стране со мной.

Вот так. Муся боялась лететь одна с ребенком, но Волька показал себя неожиданно взрослым. Он, пятилетний малыш, вел за руку растерянную Мусю, пересчитывал сумки, проверял, на месте ли билеты, и пел песни в самолете, чтобы ей не так страшно было лететь.

После обеда пошел дождь. Старуха забеспокоилась, стала трясти мужа за плечи: «Вставай, Толечка, нельзя долго лежать!» Требовала, чтобы он шел с нею гулять к океану, записался на стрижку в парикмахерской, принял ванну и начал пить таблетки от депрессии. Старик гладил ее руки, худые, как птичьи лапки, качал головой и молчал. Она требовала вызвать «скорую», потом позвонила дочери на работу, заплакала в трубку — и после этого успокоилась.

Домой Муся ехала поздно. В автобусе на нее смотрел прилично одетый мужчина; она не поднимала глаз, но чувствовала — смотрит. Когда мужчина пересел поближе и улыбнулся, Мусю охватила паника. На своей остановке она встала, сособочившись, и поковыляла к двери, повернув ступни внутрь, изображая какой-то ей самой неизвестный синдром. Проходя мимо мужчины, скривила рот на сторону и хотела было пустить слюнку, но недостало куража. Автобус уехал, Муся приняла нормальный вид, похвалила себя за находчивость и пошла домой по пустой мокрой улице.

Дома включила радио — передавали девятую Малера.

— Вот только тебя мне не хватало! — рассердилась Муся и выключила музыку. Открыла окно, села на подоконник и вытряхнула на ладонь стекляшки из синего бархатного мешочка. Она брала по одному обкатанные морем осколки и бросала их с третьего этажа в мартовскую ночь, как за борт корабля. Они падали в лужи, булькали на разные голоса. Последним упал тяжелый стеклянный лепесток и издал неожиданно чистое «ля».

— Дорогая Мария Ефимовна, — сказала Муся самой себе, — поздравляю вас с днем рождения!

Сегодня Мусе исполнилось сорок два года.

МЕССЕНДОРФ

Черная буханка ночи над горизонтом, тяжелая и плотная, как бородинский хлеб. Рыжая арнаутка луны, невесомые плетенки облаков. Сколько хлеба можно купить на пенсию? Здешнего американского, легкого как поролон — пакетов четыреста. Настоящего, из русской пекарни — буханок двести. Переслать бы их в Донецк на шестьдесят с лишним лет назад, когда была война и голод, вот мама была бы счастлива. Так нет же, не перешлешь.

В Донецк он летает весной, в свой день рождения. Съездит в Макеевку, сводит бывших сотрудников в ресторан, раздаст друзьям сувениры, внукам — игрушки, детям и бывшим женам — деньги. Сходит на кладбище, посидит на лавочке у отца с матерью, покрасит серебрянкой ограду.

Вечерний бриз приносит с океана запах тмина. Да, так и должен пахнуть бородинский. Толя дышит глубоко, чтобы выветрить запах вина. На брайтонской набережной кафе работают допоздна, здесь всегда можно выпить у стойки. Водку он пьет редко, хватает стакана красного полусладкого вечером. Иногда жена сама наливает, а иногда пугается, что он сопьется, и начинает таскать его по врачам, по гипнотизерам-шарлатанам. Эх, Оля-Олечка, не жила ты в шахтерском городе, не видала, как люди спиваются. Стакан красного — это так, для настроения.

Толя достает аптечную баночку, отковыривает крышку, высыпает на ладонь немного черного чая. Ветер сметает чайники на доски набережной. Ничего, в баночке есть еще. Пожевать чайных листьев, они убивают запах вина — и домой, там Оля ждет, не ложится. Зайти еще только купить цветов — за углом круглосуточный магазин.

В первые месяцы в Америке искал любые подработки, посуду в ресторанах мыл по ночам, а жена у него без цветов не сидела. Мать, помнится, срезанных цветов не любила, называла зряшной тратой, говорила: «Без брюк, но с тросточкой в руке». И еще говорила: «Так они и жили, дом продали, а ворота купи-

ли». У нее на каждый случай находилась поговорка, но чаще всего она говорила: «Все ничего, лишь бы не было войны».

Сорок третий год, двухэтажные бараки на окраине Донецка, керосинная лавка, немецкие мотоциклисты. За железной дорогой базар, оттуда Толя с мамой приносят хлеб, картошку, изредка шматочек сала или пол-литра молока на дне бидона.

В первое время как немцы заняли город, денег на базаре не брали, продукты меняли только на вещи. Потом стали принимать советские купюры и мелочь. В сорок втором немцы напечатали карбованцев, но мелкие деньги ходили прежние: монеты с советским серпом и молотом, желтые рубли, зеленые трехрублевки. Больше всего Толе нравились трешки, на них нарисованы красноармейцы с винтовками и в касках. Мама всегда давала ему полюбоваться, когда попадались трешки.

— Это они нас освобождают идут, — бормотал Толя, разглаживая купюру на колене. — К нам они идут, все вместе, много их: раз-два, раз-два... и папа с ними!

Отец воевал на фронте, писем от него не было — да какие письма, оккупация же. Но мама все равно заглядывала в почтовый ящик и закрывала жестяную крышку осторожно, будто боясь потревожить зародыш будущего письма, незаметно зреющий в темноте у ящика внутри.

Ребята во дворе говорили: наши уже освободили Краснодар и Харьков. К середине марта земля посередине двора тоже освободилась, не от немцев, так от снега, и просохла немного, стало можно играть в расшибалочку. Шла первая в этом году игра. Толя пробегал мимо: мама послала на соседнюю улицу отдать долг, полтора рубля мелочью в завязанном на двойной узел носовом платке. Остановился посмотреть, и сам не понял, как развязал зубами платок и поставил на кон все деньги. Риск был невелик, Толя бросал битую не хуже старших, хотя ему только что исполнилось семь. Но в тот раз не повезло: пришлый Рожа из бандитского двора с первого броска попал в казенку, сгреб выигрыш и повернулся уходить. Ребята его не пускали, кричали, что так не делают, пусть играет дальше! Рожа всех растолкал и ушел в свой двор. Туда соваться не стали, пошумели и принялись гонять в казаки-разбойники.

Толя с ними не играл. Домой тоже не шел, бродил по улицам, вглядывался в замусоренную землю — если хорошо искать, можно найти оброненные кем-то деньги. Даже помолился на всякий случай:

— Господи, если ты есть, пожалуйста, помоги мне найти полтора рубля!

Именно полтора — лишнего не просил, так скорее исполнится. Но денег на земле не было, и Толя бродил и бродил по улицам, тоскливо и долго, до самых сумерек. Он не боялся наказания — бить его некому, отец на фронте, а мать жалела.

Домой пришел, когда уже начинало темнеть. Стоял в дверях, смотрел в пол.

— Что, сынок? Не донес? Ничего, бывает. Бывает, и вошь заляет. Умывайся да садись за стол, с утра ж не евши.

Сперва картоха без масла не лезла в рот, но скоро он разохотился и дочиста выскреб миску. На закуску мама дала полстакана простокваши. Сама не пила — в то время она вдруг разлюбила молоко, только вздыхала и говорила, что цены на базаре кусаются как бешеные. Толя представлял, как рычаг и кусаются цены — раньше, до войны, это казалось смешным, но теперь думать об этом было совсем не весело. Даже на сытый желудок не весело, потому что голод все равно сидел внутри, просто временно спал, пока в довольном животе нежилась картоха с простоквашей.

Вечером мать покопалась в шкафу, повздыхала и уложила в кошелку лучшее довоенное платье. Проснулся Толя рано, но матери не было — ушла на рынок. Сколько раз говорил, чтоб не ходила без него! Уже было попала в облаву, хорошо он тогда сумел ее вывести через заднюю стенку скорняжной лавки, там доски можно раздвинуть и вылезть, если кто не очень большой. Он знал все входы и выходы, с мальчишками облазил в районе каждый закуток.

Умываться не стал, все равно мать перед обедом заставит мыть руки, лицо и уши. Ладно лицо и руки, но уши зачем? Они и так чистые. На столе под полотенцем лежал завтрак — горбушка черного хлеба, посыпанная солью. Хотел сразу не съедать, растянуть на подольше, но хлеб кончился еще когда Толя пе-

реходил двор. Он вышел на пустую улицу, побежал в сторону базара. На полдороге встретил соседку, она шла и подвывала на ходу, платок съехал на сторону, узел волос распустился, космы свисали по плечам. Увидела Толю, заголосила громче. Он еле смог разобрать, что на рынке облава, забрали всех, кроме стариков и калек. Забрали, оцепили и повели на вокзал — а там уже стоят вагоны.

Он побежал к железной дороге, издали слыша крики и собачий лай, и даже одну автоматную очередь. Поднырнул под оцепление, нашел в толпе мать, схватил за руку, потащил к вагонам — может, удастся пролезть под ними и вылезть с другой стороны или еще уйти как-нибудь. Уйти не получилось — немцы охраняли поезд плотно со всех сторон. Людей загнали в теплушки и повезли в Германию.

Потом, уже взрослым, Толя пытался вспомнить, как их везли — и не мог. У мамы тоже не спросишь, не любила она об этом говорить. В семье был негласный договор: не вспоминать о Германии, будто они там никогда не бывали.

Высадили их на станции, Толя не знал на какой, не умел тогда читать по-немецки. Запомнилась баня, резкий запах измятой одежды — дезинфекция. Поселили их в бараке, потом привели в какое-то большое помещение и выстроили в ряд. Они стояли, а вдоль ряда ходили хозяева, бауэры по-здешнему, присматривали работников. Маму с Толей выбрал толстый румяный бауэр, посадил в подводу и привез на ферму.

В чисто выбеленной комнате на столе парил чан картошки, вокруг сидели люди, человек пять, это были поляки. Мама как-то сразу научилась их понимать — в Толиной семье говорили по-русски, но украинский тоже знали, а польский и украинский похожи.

Работа была тяжелой, с раннего утра до вечера, но кормили сытно. Мать доила коров, убирала хлев, задавала скоту корм. Толя тоже работал: полыл огород, кормил кур, чистил картошку. Поляки были веселые, смеялись, рассказывали всякие истории, учили Толю с мамой немецкому. Одна из полячек убирала у хозяина в доме, ей удавалось подслушать новости — через нее и узнали летом сорок четвертого, что советские войска вступи-

ли в Польшу. Мама заплакала, стала говорить, что наши вот-вот придут — скорей бы!

Утром все пошли на работу, а матери с Толей хозяин велел остаться. Сказал, ему не нужны такие работники, которые ждут не дождутся Красную Армию. И зачем они ехали в Германию, если не хотят тут быть? Он велел им садиться в подводу и повез обратно в распределительный пункт.

Несколько дней прожили в бараке, потом их поставили в ряд вместе с теми, кого пригнали недавно. Толя посмотрел вдоль ряда: мамино лицо было глаже и розовой, чем серые после поезда лица оголодавших в оккупации людей. Он крепко держал маму за руку. В прошлый раз так не боялся — тогда он слишком устал, все было внове, ничего не понять, будто спал на ходу. Теперь ему было по-настоящему страшно: уже наслушался разных историй и знал, что их могут разлучить.

Чего он боялся, то и случилось: один бауэр выбрал маму, а его не захотел. Мама просила, обещала, что мальчик будет работать, никому не помешает, Толя вцепился в ее руку и орал. Собрались люди, поднялся шум, немцы спорили, что-то друг другу доказывали. Над Толей склонился старик, он повторял: «Их бин Ханс, их бин Ханс», — и показывал себе на грудь. Мама тоже стала Толю уговаривать, и в конце концов он понял, что его возьмет к себе этот старик по имени Ганс, он живет рядом с фермой, куда забирают маму.

У нового бауэра мама ухаживала за свиньями. Говорила, с коровами было лучше, но что было, то сплыло, а бывшее быльем поросло. И еще говорила: хорошего не стало — худое осталось, а худого не станет — что останется?

По вечерам Толя ужинал с семьей старого Ганса и бежал к маме, с разбегу перепрыгивая широкий ручей, разделявший фермы. Забирался на чердак, где спали работники, они с мамой обнимались, зарывались поглубже в сено и шептались, пока не засыпали, прижавшись друг к другу для тепла и утешения. Рано утром бежал обратно — мамин хозяин не любил, когда чужие болтались в его дворе.

В конце шестидесятых, когда мамы уже не было, а старшему сыну исполнилось восемь, Толя в бане тер мочалкой тонкие

плечи сына, лопатки, похожие на куриные крылья, невесомые руки — и думал: неужели тогда, в Германии, я был таким маленьким? Совсем же ребенок.

На ферме у Ганса он помогал по хозяйству, и еще оставалось время поиграть с младшей внучкой Ганса, Луизой. Она была не улыбочливой девочкой, пухлой и белокожей, похожей на куку с тонкими желтыми волосами — Толя видел такую в витрине, когда Ганс брал его с собой в город на почту. Луиза бегала за Толей всюду, даже на скотный двор, хотя ей туда не позволяли ходить. Услышишь ее голос: «Анатолий! Анатолий!» — и вроде становится веселей.

Ее старший брат Вальтер донимал их обоих, норовил толкнуть, вроде нечаянно, или как-нибудь прицепиться. Драться не дрался — ему Ганс запрещал, грозил выпороть, а порки Вальтер боялся. Гаже всего было, когда Вальтер назло ему обижал Луизу. Приходилось терпеть: не прогнали бы. И Толя сжимал кулаки и терпел, хотя пару раз чуть не сорвался.

Еще на ферме жила молчаливая жена Ганса и старшая внучка, семнадцатилетняя Марта. Они обе тоже работали: готовили, мыли, доили коров, процеживали молоко. На молокозавод Ганс отвозил бидоны сам.

К сентябрю хозяйка фермы перешла на Толю старый шерстяной костюм Ганса, щедро подвернув ткань в рукавах и штанинах — на вырост. Ганс отвел Толю и Вальтера в школу. Маленькая Луиза стояла в воротах фермы и плакала.

Школа оказалась просто большим домом, совсем другая, чем та, куда ходили ребята из Толиного двора в Донецке. Учитель посадил Толю на заднюю парту и велел не высовываться. Это не помогло — школьники подняли бунт. Больше всех разорился Вальтер, он кричал, что никто не сможет его заставить учиться в одном классе с рабом.

Толя вернулся на ферму раньше времени и не хотел никому рассказывать, что случилось. Наутро старый Ганс надел парадный костюм, взял Толю за руку, привел на школьный двор и велел подождать. Вышел не скоро, лицо у него было красным. Взял за руку влажной, дрожащей ладонью:

— Идем, Анатолий. Я сам тебя буду учить.

Зимы в Германии сырые, туманные, но в том году перед Рождеством ударил мороз. Ручей, разделяющий фермы, схватило льдом. Толя бежал к маме, разогнался прыгнуть, оступился — и упал в темную воду, проломив лед. Холод ощущался как ожог. Разгребая острые куски льда, выбрался из воды и побежал обратно на ферму. Заколотил в дверь, не чувствуя рук, его била дрожь, стучали зубы. Открыла Марта в ночной рубашке, волосы заплетены в две косы на ночь. Ловко раздела его, растерла шерстяной фуфайкой, завернула в одеяло и напоила горячим молоком со шнапсом. Он навсегда запомнил ощущение тепла и сонного покоя, что охватило его, восьмилетнего, завернутого в толстое ватное одеяло на заснеженной ферме в немецком селе Мессендорф.

Весной сорок пятого, как только к селу подошли наши, мама взяла Толю и уехала домой. Не ждала, пока официально освободят, не слушала ничьих советов, а подхватила и в общей неразберихе поехала на восток — на попутках, на каких-то подводах, через Польшу и Львов. Толя болел, у него был жар, он плохо помнил, как оказался дома.

Их комнату в бараке никто не занял, кой-какую утварь сохранили соседи, а главное, их ждали письма от отца — целая пачка. Война с немцами кончилась, но шла еще другая война, на востоке, отец был там.

В Донецке Толя пошел в первый класс, потом сразу в третий. О Германии ни с кем в школе не говорил, соседи тоже не расспрашивали: понимали, это запретная тема. Откуда-то знал, что маму вызывали на допрос одиннадцать раз, следователи каждый раз задавали те же вопросы и наконец оставили ее в покое. От жизни на немецкой ферме остался только костюм старого Ганса, перешитый хозяйкой. Этот костюм был единственной приличной одеждой и в школу, и на праздник, Толя носил его до седьмого класса. Мама каждый год выпускала подогнутую ткань рукавов и штанин — до тех пор, пока выпускать стало нечего.

Умерла мама в шестидесятых, в июле, за неделю до своего дня рождения. Толя заранее купил подарок — шерстяную югославскую кофту, два часа простоял в очереди на солнцепеке.

А подарить не успел. Он был уже взрослым женатым мужчиной, но скучал по ней, как ребенок. Говорил:

— Она была такой человек, такой человек... — и замолкал, не мог продолжать.

Мама приходила во сне, почему-то всегда под утро, улыбалась издали, не приближалась, не давала себя обнять — и Толя плакал навзрыд, как маленький.

Просыпался, шел на кухню, курил, смотрел в окно. Возле цистерны с молоком собиралась очередь, приходила продавщица, звякали бидоны, в комнате хныкали дети: не хотели в школу. Он стоял и курил, и не мог понять, как это: был человек — и нет.

Он не понимает этого и сейчас. Привыкнуть привык, а понять — нет, не понял. Непонятного вообще больше, чем понятного. Вот что такое время? Как его пощупать? Да и с странством та же история, просто оно вещественней. Он умел на пальцах объяснить сотрудникам теорию относительности, но то теория, а на самом деле непостижимы совершенно простые вещи.

О двух годах в Германии вспоминал редко. Когда-то мечтал, что придет в Мессендорф нынешним — взрослым, высоким, овладевшим уважаемой профессией инженера, пройдет по городку, где один день учился в немецкой школе, навестит ферму, выпьет пива с Гансом, обнимет красавицу Марту и маленькую Луизу. Но со временем стало ясно: ни в какую Германию ему не выбраться — и он перестал об этом думать.

Дети выросли, жили отдельно. Умер отец. Звонила первая жена, жаловалась на нового мужа. Со второй тоже не складывалось. Ведь была же любовь, но как-то быстро все пропало, ушло.

С утра наваливалась необъяснимая тоска, и самым скверным в ней была именно необъяснимость. Пусто было все, пусто и бесцельно. Он напивался — помогало на время, потом делалось хуже.

Легче стало, когда родилась внучка. Брал ее, крохотную, на руки, наклонялся к макушке, вдыхал воробьиный запах детских волос, как обычно делают женщины. После работы шел к сыну, брал коляску, вез внучку в парк. Она спала в тени деревьев, он играл в шахматы. Если пицала, качал коляску, не переставая думать над ходом. Не позволял никому из чужих брать

ее на руки — нечего тут грязными лапами. Пусть своих заводят, нечего тут.

Вечером, как обычно, выпивал стакан красного полусладкого, по выходным пил с друзьями — не спеша, под сигареты и разговор. Играл на трубе. Жизнь устоялась, перемен было ждать неоткуда. Весной девяностого поехал в санаторий сопровождающим, как ездил уже не раз, повез товарища, покалеченного на аварии в шахте. И там, в Крыму, встретил Ольгу.

Курортные романы случались у него и прежде, но эта женщина была необыкновенной. В шахматы играла почти на его уровне, но так авантюрно, с таким находками, что дух перехватывало. Говорила умно, шутила дерзко, слушала с лестным вниманием, танцевала лучше всех и рассказывала удивительные истории о журналистских расследованиях. С первой же встречи он чувствовал в ней необычайную энергию: веселую, заразительную, привлекательную силу.

Ради нее, ради своей последней любви, он оставил работу, двух бывших жен, детей, могилы матери и отца и уехал в чужую страну, где у него никого не было.

В Нью-Йорке, в русском районе у самого океана, ветер нес на берег соленую водяную пыль и желтый песок, по дощатому настилу набережной гуляли компании чистеньких старичков, ковыляли на каблуках надушенные дамы с презрительным выраженьем лиц, звонили велосипеды, спортивные мамы в шортах толкали коляски с большими колесами, моложавые бабушки оттаскивали внуков от железных мусорных бочек, выкрашенных веселой зеленой краской. Оле нравилось подслушивать здешние разговоры. «Я его так кэрала, так кэрала, а он ушел...» «Каждую неделю покупаю баночку икры. Не могу в этом себе отказать. Просто не имею права!..» «И вот, когда меня в третий раз вызвали в КГБ...».

Летом работали в русском доме отдыха в Кастильских горах. С утра Толя чинил все, что ломалось — от дверных замков до электропроводки, потом чистил бассейн, а с десяти до пяти дежурил на спасательской вышке. Оля ставила спектакли с детьми отдыхающих. В «Красной шапочке» у нее был один волк и двенадцать шапочек: ну каждая же девочка хочет играть главную роль.

Примерно раз в два года Толя летал в Донецк — один, без Оли. Она копила деньги ему на билет и сама покупала подарки внучке: что-нибудь бархатное, с блестками. Двухтысячный год они встречали в Париже, в ресторане с видом на Эйфелеву башню. В Тель-Авиве бывшие сотрудники устроили вечер, говорили о Толе восторженно. Оля слушала и кивала, будто все это знала о нем заранее.

Теперь, когда заграница сделалась достижимой, он чаще вспоминал немецкую ферму, где жил ребенком шестьдесят лет назад. Представлял, как приедет, пройдет по знакомым местам, перепрыгнет ручей на границе двух ферм, сходит на могилу старого Ганса, найдет Луизу и Марту. Они еще не старые, особенно Луиза. Узнают ли они его? Вспомнят ли? От этих мыслей билось сердце, как от трех чашек двойного эспрессо.

В библиотеке искал Мессендорф на карте, не мог найти. Не было такого села — исчезло, испарилось, пропало без следа. Был город Мессендорф в Австрии, но мама, помнится, говорила, работали они неподалеку от Польши. Да и сам он знал, что Австрия тут ни при чем.

За поиски взялась Оля со свойственной ей энергией. Она связалась с архивами и музеями, с общественными организациями, где для нее писали запросы по-немецки и по-английски, и после года поисков нашла место, название которого помнил Толя. Село, оказывается, переименовали после войны. Теперь оно звалось Мезина, и было не в Германии, а в Чехии, почти на границе с Польшей.

В самолете Толя не мог ни спать, ни читать. Хотел попросить стюардессу принести вина, но вспомнил: у Оли период страха перед мнимым его алкоголизмом, так что придется перетерпеть. Он закрывал глаза и видел ферму, темноватые чистые комнаты, скотный двор, старого Ганса, его семью. Прошлое становилось недавним, реальным, длящимся. Луиза, маленькая Луиза — как он, оказывается, скучает по ней. И Марта... добрая славная Марта.

Если на ферме живет Вальтер — как он встретит, поможет ли найти сестер, покажет ли могилу Ганса и его молчаливой жены?

Или не станет даже разговаривать? Можно тогда расспросить соседей, Толя говорит по-немецки, язык не забылся за столько лет.

Из Праги добрались электричкой до ближнего к Мезине города. Толя узнал мощенную булыжником площадь, шпиль костела над крышами, разноцветные одноэтажные дома — в этом городе мало что изменилось. Где-то здесь была школа, куда он ходил один день, хорошо бы найти ее на обратном пути. Оля углядела в витрине хрустальную вазу, захотела привезти ее в подарок дочке Алене — именно эту и никакую другую. Купили две почти одинаковых, они оказались дорогими и довольно тяжелыми для своего небольшого размера, но Толя никогда не спорил с женой о покупках. Он только подумал, что когда вернутся в Прагу, надо найти цветочный магазин. Ваза уже есть, даже две.

В село, к самой ферме, ходил автобус. Им сказали, здесь всего несколько остановок, и они пошли пешком. Остановки были не городские, шли долго. Оле попадали камушки в босоножки, приходилось останавливаться. Толя приседал, расстегивал ремешки ее маленьких босоножек, вытряхивал камушки, а она, стоя на одной ноге, держалась за его плечо.

Волнуясь, Толя описывал, что будет за той рощей, за тем домом — и каждый раз оказывался прав. Он хорошо помнил эти места. На поддороге повезло, поймали такси. Шофер не говорил ни по-русски, ни по-английски, ни по-немецки, так что Толя рукой показывал, куда ехать. Остановил такси там, где ручей подходил близко к шоссе. Вода текла в заросших травой берегах точно так же, как много лет назад. Спустились поближе к ручью. Толя сел в траву среди тонких берез, Оля — ему на ноги. Он никогда не позволял ей сидеть на сырой земле.

Ветки занавешивали их, затеняли солнце, деревья вокруг казались теми же, что росли тут когда-то. Хотя, наверное, старые умерли, а новые выросли и повзрослели.

Удивительно ясно чувствовалось мамино присутствие. Здесь она казалась ближе, чем даже на кладбище в Донецке.

— Мама была такой человек, такой человек... — сказал Толя и замолчал, не смог говорить дальше.

Оля положила голову ему на грудь и, кажется, уснула. Устала, бедная. Посидела немного, потом вздохнула, открыла сумоч-

ку, подкрасила губы, встала. И они, держась под руки, пошли к ферме старого Ганса.

С поля, огороженного кривыми жердями, внимательно, будто стараясь их запомнить, смотрела грязно-белая кобыла с бельмом на одном глазу. Толя споткнулся на неровной дорожке, ведущей к дому, чуть не упал, схватился за каменный столбик ограды, вазы в сумке звякнули, но, кажется, уцелели. Раньше дорожка была гладкой — или он забыл. Нет, не забыл, он узнавал эти камни — и видел, как их перекосило и вздыбило время. Узнавал дубовую дверь под слоем новой краски — ту самую, в которую стучался морозной ночью, когда ему открыла красавица Марта.

Он стоял у ограды, к двери не шел. Дом плавал в глазах, менял очертания, изгибался, будто сквозь воду или неровное стекло. Оля прошла вперед и нажала кнопку звонка.

Дверь открыла стриженная старуха в грязном фартуке. По-немецки она не говорила, но довольно сносно объяснялась по-русски. Ее семья жила тут с конца войны, старуха не знала, куда делись прежние владельцы, не знала даже их имен. Приехал на мотоцикле сын, тоже ничего не мог сказать. Нет, не было в Мезине никакой немецкой семьи, никто и не слышал даже, чтоб здесь когда-нибудь жили немцы. Вот они — чехи, и все соседние чехи, а немцев нет. Это чешская земля.

Оля попросила разрешения войти в дом. Их впустили неохотно, не дальше гостиной, но этого было довольно: Толя увидел знакомую комнату, теперь она казалась ниже и тесней. Мебель была другой: тонконогая, легковесная, вышедшая из моды мебель семидесятых, и только в углу стояли старые часы в тяжелом полированном корпусе. Блестел золотом циферблат, за стеклом неподвижно висел маятник и две золоченые гири. Толя вполголоса сказал жене:

— Подойди, взгляни на часы. Слева на корпусе должны быть царапины крестом. Там, возле стенки. Немного дальше. Нашла?

Оля под напряженным взглядом хозяев провела пальцами по боковине часов. Оглянулась, кивнула. Царапины были на месте. Она поблагодарила хозяев, попрощалась за двоих: за мужа и за себя. Толя, обычно вежливый, молчал.

На улице было безветренно и жарко. В зените пела невидимая птица. Грязно-белая кобыла с бельмом посмотрела на них внимательно — и отвернулась.

— Царапины, — усмехнулся Толя, — это Вальтера работа. Хотел свалить на меня, так разве Ганса обманешь? Если б он хоть звезду нацарапал... Ну и пороли его! Визжал как свинья.

Толя не говорил никому — ни Оле, ни тем более детям, что его тоже, бывало, били. И первый бауэр, у которого мама ухаживала за коровами, и добрый Ганс. Не часто и не по прихоти, а за провинность: опрокинутый бидон, хоть он и сам чуть не плакал, что пролил столько молока. И за разбитую миску. Но тогда порка была обычным делом, а сейчас... сейчас ни к чему об этом рассказывать.

На соседних фермах ничего не знали о семье Ганса, вообще не помнили, кто здесь жил. Или не хотели говорить. Толя точно знал, вся округа Мессендорфа была немецкой, все села и фермы. А теперь никого. Куда могли деться люди? Как вышло, что они были зачеркнуты, вымараны из жизни? Толя молча брел за женой от фермы к ферме, молча сел в автобус. Он уже что-то понял, но еще смутно, еще не мог сказать этого даже себе.

Они вернулись в город, зашли на почту. Оля разговорилась с пожилой чешкой, та хорошо понимала по-русски, в ее время в школе еще учили русский язык. В Чехии старшее поколение знает русский, а младшее — английский. Женщина неохотно сказала, что немцы ушли отсюда в сорок пятом году. Подробностей она не знала. Оля нашла музей, выспрашивала, настаивала: где можно узнать, как найти семью Ганса, есть же какие-то документы, архивы? Но в музее тоже ничего не могли сказать. Или не хотели.

Они приехали в Прагу и там, на Вацлавской площади, на втором этаже стеклянного книжного магазина, молодой продавец с серьгой в ухе сразу понял, что им нужно. Он принес недавно изданный альбом о депортации немцев, живших в Судетах несколько сотен лет. В написанном по-английски предисловии было сказано, что эта тема в Чехии была под запретом до самого недавнего времени, до середины девяностых годов. Если бы Толя приехал на несколько лет раньше, то ничего не узнал бы.

Он смотрел фотографии, читал английские подписи, описания убийств, изнасилований, погромов и пыток, видел тела, брошенные на мостовой. У немцев отобрали дома, их согнали в лагерь, запретили ездить на велосипедах, ходить по тротуару, посещать кино и рестораны, в магазины они могли входить только в определенное время. Они были обязаны носить на рукаве белый лоскут с буквой «К». Непонятно, почему «К», но какая разница... Их использовали как рабов на тяжелых работах, издевались и убивали на улицах просто так — за то, что немцы. Три с половиной миллиона депортированных, несколько сотен тысяч убитых. Или больше — об убитых точных данных нет.

Потом, уже в Нью-Йорке, он находил еще фотографии, вглядывался, искал знакомое лицо. Не нашел. И тогда ему начал сниться один и тот же сон. Обычно он снов не запоминал, и от этого сна наутро оставалась в памяти только дубовая дверь и как он замерзая, коченея, окаменевающая в нее стучит. Но никто ему не открывает.

Из книжного магазина на пражскую улицу вышли в сумерках. — Олечка, — сказал Толя, — разреши? Мне нужно.

Зашли в первый попавшийся ресторан, официант принес бокал крепкого темного пива и к нему стопку водки. Потом еще. И еще. В тот вечер пиво с водкой Толю не брало.

Было понятно, что найти семью старого Ганса невозможно: Толя даже не знал их фамилии. Что с ними случилось, остались ли они живы? Страшно было думать о семнадцатилетней Марте, она была очень красивой девушкой.

В затылке давило, как в паровом котле, у которого забился клапан. Почему-то особенно мучило, что он ничего не знал, все эти годы воображал, как Ганс и его внуки благополучно живут на чистенькой ферме. Что изменилось бы, если б он знал? Непонятно почему, но что-то для него изменилось бы.

Наутро не хотелось открывать глаза, двигаться, вставать с постели. Оля заставила его одеться, силком напялила через голову свитер. Руки в рукава он продел сам. Она потащила его на улицу, и он пошел, не думая ни о чем, как бы не просыпаясь, не желая просыпаться, только чувствуя боль в затылке. Жена привела его в цветочный магазин, купила дюжину разноцветных роз,

Толя молча уплатил. Пошли на Карлов мост. Было ветрено, Ольгин шарф развевался, хлестал их обоих по щекам. То хлестал, то гладил. Она остановилась у ограды, развернула розы.

— Толя, — сказала она с чувством, и ветер унес ее голос. — Толя, мы не знаем, где они, живы ли, и где могила Ганса. Давай цветы для них бросим в реку!

Это был сентиментальный, бессмысленный, актерский жест, и в этом была вся его Оля. Ей нужно действие, она не может без жеста.

Она высыпала цветы за ограду моста. Наклонилась, подобрала белую розу, упавшую на асфальт, бросила вслед за остальными. Толя почувствовал, как ослабело давление в затылке. Чего не могла сделать водка, сделал этот сентиментальный жест.

Он не умел молиться, но сейчас, на пражском мосту, просил о старом Гансе, его молчаливой жене, красавице Марте и маленькой Луизе:

— Господи! Если ты есть, прошу тебя, сделай так, чтобы они выжили тогда, и ничего не случилось с ними плохого!

Нелепо было молиться о том, что было давно, но больше ничем он не мог помочь. Розы поплыли вниз по Влтаве — сначала вместе, сцепившись стеблями, потом рассеялись, разошлись. Если они не застряли в шлюзах, то может быть, несколько штук доплыли до реки Лаба. И может, хотя бы одна, растеряв по дороге лепестки, оставила Чехию и оказалась в Германии, где Лаба становится Эльбой.

Ветер с океана задул сильнее, собирал бумажный мусор в недолговечные смерчи, наметал песок и чертил на досках брайтонской набережной подвижные узоры. Раньше под настилом ночевали бездомные — идешь вечером, видишь под ногами свет фонариков в щелях. В прошлом году ураган засыпал песком пустоты между опорами, бездомные ушли в другие места.

В цветочном магазине было светло и тихо. Молодая продавщица, улыбаясь своим мыслям, разворачивала пакеты туго спеленутых роз, ставила в пластмассовые ведра, прятала в холодильник. Цветы облегченно расправляли зубчатые листья.

Толя выбрал одиннадцать роз, слегка сжимая пальцами бутоны, пробуя, крепкие ли — чем крепче, тем дольше будут стоять.

Вспомнилось, как Алена, Олина дочка, говорила, что в хрустальных вазах из Мессендорфа долго не вянут цветы, даже капризные недолговечные розы. Она приезжала в прошлые выходные, и он, как всегда, смешил ее:

— Знаешь ли, Аленка, как выбирать цветы для женщины? Тут все зависит от фаз луны. Если растет — носи розы, тюльпаны, ирисы. Убывает — пойдут орхидеи, хризантемы, астры. А в полнолуние — все равно, что дарить. Ничего не спасет, все одно окажешься виноватый.

Алена звонила потом из машины, переспрашивала, что дарят на убывающей луне.

— Не помню, солнышко! Как придумал, так сразу и забыл.

Она смеялась — оценила шутку.

Продавщица, все так же неизвестно чему улыбаясь, добавила в букет пальмовых веток, обернула зеленой бумагой и обвязала собранными в пучок лентами разных цветов — в тон розам.

На улице ветер разыгрался всерьез, задувало так, что прохожие останавливались и отворачивались. На углу сильный порыв чуть не сбил с ног одинокую старушку. Толя бросил цветы, успел подхватить под руки, удержать. Старушка вырвалась, раздраженно дернув локтем, и поковыляла дальше, сжимая паучьими пальцами воротник пальто.

Толя смотрел вслед, пока она не свернула за угол — ничего, дойдет, за углом вроде тише. Что она бродит по ночам в одиночку, такая старая? И тут же подумал: да ведь он сам не намного моложе. Подобрал растрепанный букет, зажал подмышкой и пошел быстрее, почти побежал. Через пару десятков шагов пришлось остановиться: свистело в груди, не давало дышать. Совсем никуда стала дыхалка, и на трубе давно уже не дает играть, даже не взял трубу в Америку, оставил сыну. Как это мама говорила: «Старое дребезжит, новое звенит». Ганс говорил прямее и проще: «Alter ist ein schweres Malter».

Толя старался не вспоминать, насколько Оля старше его. Обычно ему удавалось не думать об этом, но сейчас он ясно увидел ее в больнице под капельницей, как было этой зимой. Она лежала, такая маленькая, на больничной койке с железными перилами, улыбалась через силу, и ее помада казалась очень яркой из-за бледного, в синеву, лица.

Он шел домой, наклонив голову, преодолевая давление ветра, зажав подмышкой растерявший лепестки букет, и не замечал, как бормочет, не слышал своего голоса за шумом бури и грохотом брайтонского сабвея:

— Господи, если ты есть, сохрани ее, пусть она меня переживет. Сохрани их всех, пожалуйста. Я так многих потерял, не могу я больше. Господи—если ты, конечно, есть,—извини меня, но больше я не могу.

Умер Толя весной, через две недели после своего дня рождения, за пять лет до того, как в Донецке началась война. «Все ничего, лишь бы не было войны...» На какой стороне он был бы? Наверное, на той, где его сыновья. А если бы сыновья оказались по разные стороны?

Он не болел, не жаловался, просто в начале февраля лег, перестал вставать—и через два месяца умер. В свои семьдесят три он был вполне крепок, только легкие немного подводили. Нелзя ему было лежать, не вставая, он это знал.

Оля не оплакивала его, как не оплакивала никого из четверых мужей, как не горевала ни о ком и ни о чем. Слишком о многом пришлось бы плакать: сиротство, детский дом, голод, война, эвакуация, снова голод. Если оглядываться на прошлое, как жить в полную силу? Нет, не оглядываться, не сожалеть, от этого становятся слабыми. Она раздала Толины вещи, выбросила бумаги и стала жить, будто его и не было никогда.

Алена увезла домой Толин свитер—кашемировый, светло-желтый. Он был ей велик, почти до колен, но со временем съезжился от многих стирок и стал впору. Этот свитер она надевает, когда болеет или хандрит, или осенью, если дождь целый день, или в февральскую темень и холод—и от желтого кашемирового тепла ей становится легче.



Анна Агнич

киевлянка, жила в Москве и Нью-Йорке, в настоящее время живет в Бостоне. В США с 1990 года. Окончила Киевский политехнический институт, последние два десятка лет работает бизнес-аналитиком. Ее рассказы и повести печатаются в журналах и альманахах России, Украины, Израиля, Канады, Германии и США.



...Чувствуется рука мастера во всем: в изобразительной силе, в композиции, в понимании психологии людей, независимо от их пола и возраста, и в умении дать точный портрет, в психологии не копясь. Одна из главных черт прозы (и мироощущения) Анны Агнич – переходы от реального к иллюзорному и обратно, отсутствие этой границы, которая и в самом деле мнима. В соответствии с этими переходами чередуются лирические периоды с совершенно рациональными, и это создает пластическое равновесие повествования.

*Владимир Гандельман,
Нью-Йорк*

...С первых же строк забываешь, что герои говорят и делают то, что предписал им автор. Развитие сюжета захватывает, диалоги звучат живыми головами; цвета, запахи, краски проступают так реально, как это бывает только во сне, пробудившись от которого и сам уже не знаешь: проснулся ли ты на самом деле, или, наоборот, заснул, а увиденный сон и был явью.

*Игорь Джерри Курас,
Бостон*

M-Graphics Publishing

www.mgraphics-publishing.com
info@mgraphics-publishing.com

ISBN 978-1-940220-46-8



9 1781940 220468